

*М.М. Федорова*

## История/память: «трудная» дилемма

*Федорова Мария Михайловна* – доктор политических наук, главный научный сотрудник. Институт философии РАН. Российская Федерация, 109240, г. Москва, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1; e-mail mf57@yandex.ru

В статье анализируется проблема соотношения истории и памяти. Исследуются три модели решения этой проблемы, представленные в современной французской общественно-философской мысли и вызвавшие огромный общественный резонанс, – теория коллективной памяти М. Хальбвакса, концепция «мест памяти» П. Нора и герменевтика истории П. Рикёра. Автор показывает, что решение проблемы возможно на пересечении двух линий исследования – философско-эпистемологической и практико-политической. При этом сохранение разрыва между историей и памятью приводит к обеднению истории и открывает возможности для манипулирования памятью. Вместе с тем память может быть вписана в интерпретативную перспективу, открытую к будущему, она может стать предметом коллективного освоения, а не просто элементом музеографии, оторванной от настоящего. Для нормально функционирующего общества проблема состоит не том, чтобы развести историю и память, тщательно очертив их сферу, а в том, чтобы разрешить вопрос, каким образом можно связать историю, память и забвение.

**Ключевые слова:** история, память, долг памяти, традиция, эпистемология истории, историческая политика

Проблема памяти как хранительницы времени, как ниточки, связывающей человека с его прошлым, наконец, как особой и удивительной человеческой способности так же стара, как и сама философия. Нам хорошо известны высказывания на этот счет Платона и Аристотеля, Цицерона и Августина, Локка и Мальбранша, Гуссерля и Фрейда... Британская исследовательница Френсис Амелия Йейтс, изучавшая способы сохранения и передачи традиций в западноевропейской культуре, называла искусство памяти «нервным узлом европейской цивилизации», причем теоретическая основа этого искусства сложилась в средневековой схоластике, а практика была теснейшим образом связана с образным строем европейского искусства и архитектуры [Йейтс, 1997, с. 10]. Не нова и проблема соотношения памяти и истории как двух возможных типов отношения человека к своему прошлому. Известный философ и культуролог Кшиштоф Помиан относит их разделение к эпохе перехода от устной культуры к письменной<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Первое отделение истории от памяти Помиан связывает с составлением генеалогий королей и принцев. Первоначально эти королевские списки сохраняли тесную связь с коллективной памятью: история в это время была «памятью, переложенной в письменном виде». Впоследствии, когда труд историка стал более индивидуализированным, был поднят вопрос о доверии к человеку, который был всего лишь рассказчиком, но не свидетелем [Pomian, 1988, p. 82].

Однако следует констатировать, что в XX столетии, особенно в последней его четверти и в начале века XXI, тема памяти превратилась из традиционных и классических философских тем, всегда в той или иной мере привлекавших внимание исследователей, в тему необычайно острую, связанную с новейшими эпистемологическими проблемами гуманитарного знания и, кроме того, активно эксплуатируемую современными политиками и вовлеченную в идеологические контroversы. Историки, психологи, философы констатируют, что память – в ущерб истории – заполнила собой все пространство отношений человека к своему прошлому, более того, она встала над историей в качестве главного способа управления прошлым.

С чем связана эта ситуация? Какие причины ее породили? Почему история и память, всегда тесно взаимосвязанные, оказались в состоянии жесткого противостояния, доходящего до разрыва? В данной статье мы попытаемся дать ответ хотя бы на часть из поставленных вопросов. Однако при этом мы намеренно сузим поле нашего исследования, сосредоточившись на реперных точках в связанных с памятью в философских и эпистемологических дискуссиях последних лет, оставив в стороне – насколько это возможно – политическую составляющую проблемы. Кроме того, соглашаясь с утверждением о подлинно интернациональном характере и глобальном масштабе мемориального феномена, мы ограничимся анализом французского контекста этой проблемы, считая, что высказанные здесь, во Франции, в ходе жарких дебатов тезисы и утверждения способны наиболее выпукло представить суть сформулированной проблемы, а возникшие на французской почве интеллектуальные конструкции относительно проблемы память/история позволяют очертить принципиальные пути ее решения.

Итак, во Франции на протяжении XX в. можно выделить три концептуальные конструкции, связанные с понятием памяти. Это, во-первых, теория социальной памяти Мориса Хальбвакса; это грандиозная историко-политическая программа «мест памяти» под руководством Пьера Нора; это, наконец, попытка философской концептуализации мемориальной тематики, предпринятая Полем Рикёром. Все три концепции были созданы в разное время (причем первую и две другие разделяет полвека), но они сосуществуют и взаимопереплетаются в научных и публичных дискурсах, хотя каждая из них имеет собственную генеалогию, историю, они укоренены в различных гуманитарных дисциплинах и организованы вокруг разных объектов.

Социология памяти Мориса Хальбвакса, изложенная им в известной работе «Социальные рамки памяти» (1925) и развитая впоследствии в статьях конца 1930–1940-х гг. (объединенных и изданных посмертно в книге «Социальная память», 1950), была сформулирована в очевидной полемике с основными тезисами Анри Бергсона («Материя и память», 1896). Бергсон полагал, что прошлое продолжает жить в двух формах, каждая из которых создает свой вид памяти. Это, во-первых, образы-воспоминания, накопленные индивидами на протяжении жизненного пути. И во-вторых, психологические механизмы, управляющие человеческим действием, дающие нам память-привычку для общения с другими людьми, адаптирующуюся к настоящему и выраженную с помощью языковых средств. Первая память «ретроспективная», она «воображает», вторая – «повторяющая». Но так или иначе вспомнить для Бергсона – значит найти некую особую реальность, предсуществующую в глубинах индивидуального сознания.

Разумеется, бергсоновский идеалистический индивидуализм не мог удовлетворить такого последователя Э. Дюркгейма и реалиста, каковым был М. Хальбвакс<sup>2</sup>. Он был категорически против идеи чистой памяти, полагая, что память может быть только социальной. Любая индивидуальная мысль является частью мысли коллек-

<sup>2</sup> «Заслугой Бергсона, по мнению Хальбвакса, является то, что он продемонстрировал решающую роль памяти в освоении мира человеком, интерпретируя познание как синтез восприятия и воспоминания, неразрывно связанных с длительностью. Однако теоретик философии жизни сосредоточил свое внимание на проблемах активности сознания, а не на осмыслении объективных оснований духовной реальности», – пишет в связи с этим О.И. Мачульская [Мачульская, 2015, с. 101].

тивной, социальной, и это – необходимое условие индивидуального воспоминания. В своей первой работе, посвященной проблемам памяти, Хальбвакс, таким образом, устанавливает, что, во-первых, индивидуальная и коллективная память объединены социальными рамками; и во-вторых, память есть реконструкция прошлого в зависимости от настоящего видения общества. Социальные же рамки (Хальбвакс использует это дюркгеймовское выражение, сохраняя его изначальный смысл) представляют собой инструмент, с помощью которого индивидуальная и коллективная память восстанавливают образ прошлого, в каждую конкретную эпоху согласующийся с доминирующими в обществе представлениями.

В последующие годы Хальбвакса привлекала в первую очередь эта проблема соотношения индивидуальной и коллективной памяти. Прежде всего он использует свои наработки предшествующих лет по социальной морфологии, углубляющие понятия социального взаимодействия и социального пространства. Кроме того, он ищет ответ на вопрос, поставленный, но не решенный в «Социальных рамках памяти» и касающийся унификации различных видов коллективной памяти, например, в рамках памяти национальной. Эти вопросы он пытается решить опять же в контексте полемики с Бергсоном, в частности с его концепцией, противопоставляющей время и длительность. Оставаясь рационалистом, Хальбвакс переворачивает бергсоновское соотношение времени и длительности, показывая, что подлинная противоположность, связанная со временем, лежит в иной, нежели это представлялось Бергсону, плоскости. Непосредственная данность для него как для социолога – это не длительность, связанная с индивидуальным сознанием, и не индивидуальная память, а память коллективная, и артифициализм он соотносит не с искусственно сконструированным временем науки, а с иллюзорной стороной индивидуального сознания.

Хальбвакс развивает свои предшествующие выводы, высказывая предположение о сложной структуре взаимоотношений между социальным и индивидуальным компонентами памяти: индивид может входить в разные социальные группы, и его индивидуальная память оказывается пересечением нескольких видов коллективной памяти. Поэтому и воспоминание предстает для него не реконструкцией прошлого исходя из условий настоящего (как это утверждалось в «Социальных рамках памяти»), а реконструкцией настоящего, осуществляемой под воздействием прошлого.

Эти размышления приводят Хальбвакса к важному выводу, что «коллективная память не совпадает с историей и что выражение “историческая память” не очень удачно, ибо объединяет в себе два термина, которые противостоят друг другу и не в одной позиции... История вообще начинается только там, где кончается традиция, в тот момент, когда угасает или разрушается социальная память». Коллективная память отличается от истории. Это течение мысли, в длительности которого нет ничего искусственного, поскольку оно удерживает из прошлого только то, что еще живо или способно жить в сознании поддерживающей его группы. По определению, оно не выходит за рамки данной группы, и когда в группе угасает интерес к тому или иному периоду, то это не означает, что группа забыла свое прошлое: на самом деле речь должна идти о двух различных группах, сменяющих друг друга. И если в драме действие разворачивается от одного акта к другому с теми же персонажами, характерами и страстями, то в истории «от одного периода к другому все обновляется – игра интересов, направленность умов, способы оценки людей и событий, а также традиции и перспективы будущего... И совокупности людей, образующих одну и ту же группу в сменяющих друг друга периодах, напоминают скорее два различных отрезка, соприкасающиеся своими оконечностями, но никогда не совпадающие и не образующие единого целого» [Halbwachs, 1997, p. 130]. В отличие от коллективной памяти история – вне групп и над группами. Коллективная память – множественна, и эта множественность выражена в плюральности времени социальных групп.

Итак, антитеза: с одной стороны, память, которая целиком погружена в пережитое, с другой – история как чисто внешняя темпоральность, внешнее время (время часов и календарей, как говорил В. Беньямин), как «абстрактное знание», предназначенное для восстановления прошлого вне его экзистенциального переживания [ibid., p. 120]. Это два измерения нашего отношения к прошлому, не сводимые друг к другу. Коллективная память подобна реке, все расширяющей свое русло во мере удаления от истока. История же действует методично, она вводит различия, разделяет на периоды, возводит барьеры и создает дисконтинуальности. «В ддящемся развитии коллективной памяти нет четких линий разделения, как в истории» [ibid., p. 134]. С другой стороны, память фрагментарна, поскольку связана с социальными группами и индивидами. История же стремится к унификации, установлению некоего единства.

Таким образом, Хальбвакс совершает очень важный в эпистемологическом отношении шаг – выделяет память в качестве особого и специфического предмета гуманитарного знания. Он разделяет два мира: мир памяти как сфера пережитого, мир неопределенности, конкретности, множественности, мир священного; и мир истории, мир критики, концептуализации, проблематизации, мир светскости. Мир истории начинается там, где кончается мир памяти. Это утверждение стало для Хальбвакса отправной точкой для дальнейших исследований укорененности и механизмов развития памяти в конкретной социальной группе.

Собственно, выводы Хальбвакса можно считать «позитивным» подходом к истории с целью продвижения новой социологической науки в духе Дюркгейма. Позиция историка здесь вне всяких нормативных суждений и связей с нормативными практиками: «Собрать в единую картину всю совокупность произошедших событий возможно лишь при условии их полного отделения от памяти социальных групп, хранящих о них воспоминания» [ibid., p. 137].

Разведение двух понятий, связанных с осмыслением нашего отношения к прошлому, имело серьезное эвристическое значение, поскольку стимулировало двойную проблематизацию полюсов созданной альтернативы. В ходе этих исследований произошли существенные модификации проблемного поля обоих понятий. Анализ природы памяти позволил лучше понять механизмы ее действия в сообществе и распространить на мемориальные изыскания критические методы, традиционно связываемые с исторической наукой. Требования же абстрактности, объективности и концептуальности в истории также претерпели свои метаморфозы вплоть до отказа от претензий истории на то, чтобы стать социальной физикой, полностью оторванной от пережитого. Таким образом, дилемма, требующая выбора между истиной истории и верностью памяти, в конце XX столетия сменилась поисками союза истории и памяти, когда в истории стали усматривать интеллектуальное усилие, направленное на усвоение седиментаций различных смыслов, оставленных предшествующими поколениями, или расшифровку нереализованных возможностей побежденных или лишенных своего права голоса.

Новый всплеск интереса к проблемам памяти в ее связи с историей относится к 70-м годам XX в., когда сложилась совершенно особая – как в теоретическом, так и в общественно-политическом отношении – ситуация, не только ставшая предметом научных и философских дискуссий, но и вызвавшая к жизни специфическое направление в политике, – так называемая «историческая политика», или «политика памяти». Если философское исследование проблем памяти в 30–40-е гг. XX столетия фокусировалось главным образом на рассмотрении особенностей восприятия прошлого в индивидуальном и коллективном сознании и не выходило за рамки научных и философских дискуссий, то полвека спустя ситуация кардинально меняется. Проблема памяти обретает эпистемологическое измерение (связанное с ролью истории в жизни общества и с методологическими основами этой науки) и политическое звучание; в разговор о памяти вступают историки и социологи, политики и представители медийных сфер.

Таким образом, можно констатировать, что проблема исторической памяти превратилась в серьезную общественно-политическую проблему, имеющую как собственно теоретический, так и практический аспекты. Ведь, с одной стороны, мемориальный феномен – это определенный политический ресурс в ситуации жестких социально-политических разрывов и изменений. В условиях экономического кризиса и при отсутствии реальной и четкой программы будущего развития государство часто стремится превратить память в главный элемент национальной консолидации. С другой стороны, память – это понятие социальных наук, причем понятие полисемичное и функционирующее в разных научных сферах и именно в силу своей многозначности являющееся предметом самых различных контроверз. Кроме того, даже в рамках социально-философского знания существуют разные традиции и школы, каждая из которых опирается на свое определение памяти и ее концептуальное ядро.

В теоретическом отношении эту интеллектуальную ситуацию в целом можно охарактеризовать как своеобразную реакцию на кризис исторического сознания Модерна, в контексте которого возникло новое отношение к Истории (как к научной дисциплине и как существеннейшему измерению человеческого бытия). К числу факторов, обусловивших этот своеобразный духовный климат эпохи, можно отнести следующие:

- во-первых, критика различных историцистских версий, связываемых философами с тоталитарными режимами;
- во-вторых, кризис идеи прогресса во всех ее вариантах (от научно-технического прогресса до – и, может быть, в первую очередь – прогресса социально-политического);
- в-третьих, активизация идентификационных логик и механизмов (как оборотная сторона глобализационных процессов), тесно связанных с осмыслением исторического прошлого, патримониализацией и т. п., поскольку одна из главных составляющих любой коллективной идентичности – это интерпретация истории этой группы.

Кроме того, в немалой степени возникновению новых форм исторического сознания способствовал и крах коммунистической системы (и сопутствовавшей ей революционной эсхатологии) и последовавшее за ним открытие истории в виде ликвидации «белых пятен» или «черных дыр», т. е. истории, долгое время замалчиваемой на уровне государственной политики, истории «закрытой», «вытесненной», связанной с массовыми репрессиями, жертвами, насильственным переселением народов и т. п.

Таким образом, на символическом уровне формируется и активно используется политикой новый подход к осмыслению истории. Истории как строгой доказательной, опирающейся на факты науке, равно как и истории как «естественно-историческому процессу», активно противопоставлялась «живая история», новый – зачастую метафорический – способ прочтения которой учитывает конфликт интерпретаций тех или иных событий и фактов, относительный характер исторического знания и политическое употребление наших знаний о прошлом. В рамках этой истории важнейшую роль играет категория памяти и связанные с ней понятия (долг памяти, места памяти и т. п.). Феномен памяти сегодня действительно интернационализирован – о памяти говорят везде: в Европе, в Африке, в Латинской Америке... Его связывают с необходимостью осмысления во многом жестокого опыта человечества в XX в., длительное время замалчиваемого и скрываемого. Речь идет прежде всего о тоталитарных режимах и диктатурах, о злодеяниях фашизма, о геноциде целых народов или их насильственном переселении.

В разных странах эти процессы протекали по-разному и соответственно разные исторические и политические категории оказывались в эпицентре дискуссий. В бывших социалистических странах в фокусе исследования оказывалась память жертв репрессий. В Германии вопрос стоял о соотношении памяти и национальной идентичности. Немецкий историк и философ Эрнст Нольте выступил с работой «Европейская гражданская война 1917–1945. Национал-социализм и большевизм» (1987), в которой, пересматривая свои прежние взгляды на сущность фашизма, выдвинул идею о том, что предпосылкой фашистской идеологии является коммунистическая

идея, а расовые репрессии нацистов имели своей предысторией большевистские репрессии. Тем самым, по признанию многих историков и общественных деятелей, был не только открыт путь забвению и реабилитации мрачных страниц истории Германии XX столетия, но и оправдана возможность релятивизации истории. Против такого понимания истории выступил Юрген Хабермас, отстаивавший идею критического отношения к национал-социализму, представляющему собой разрыв в ткани истории Германии, без осмысления которого невозможна была бы демократическая модернизация [см.: Любин, 2004]. В контексте этих дискуссий об ответственности фашизма был поставлен вопрос о немецкой идентичности и общем историческом сознании немцев, об объединении двух видов исторической памяти после объединения Германии (антифашистской памяти восточных немцев и памяти, включающей в себя чувство вины, – западных).

Во Франции в этот период также проходили споры историков, отмеченные «радикализацией памяти». Одним из центральных понятий, вокруг которого здесь фокусируются исследования, стало понятие «мест памяти». Само понятие «места памяти» заимствовано из латинской риторики, в которой *locus memoriae* употребляется для фиксации дискурсивного порядка<sup>3</sup>. Оно дало имя проекту историка Пьера Нора, воплощенному в грандиозном трехтомном коллективном труде объемом в 4 750 страниц [Nora, 1984–1992]<sup>4</sup>. После выхода заключительного тома трилогии на организованном в Нидерландах коллоквиуме (1992) была проделана значительная работа по установлению связи между понятиями «места памяти», «национальная идентичность» и «европейская идентичность». Продолжением этой работы стал коллективный труд «Транснациональные места памяти центральной Европы» (2002).

Проект был направлен на выявление «скрытого родства» между «истинной памятью» и различными символическими для страны предметами, объектами или институтами и тем самым на создание «истории Франции через память», т. е. истории того, что собственно и составляет память Франции [Nora, 1984–1992, t. 1, p. 7].

Нора исходил из констатации утраты органической связи между человеком и его историей-памятью. Модерн, по его мнению, вырвал людей из их привычной среды обитания (среда-память) и вынудил заполнять образовавшуюся пустоту изобретенной искусственной памятью: «Места памяти существуют только потому, что нет больше среды-памяти» [ibid., p. 25]. Утрата национальной памяти – памяти, созданной первоначально монархией и затем укрепленной Республикой, – привела к формированию во Франции множества локальных видов памяти, каждый из которых требует собственной истории. Так возникает обширная панорама разрывов, дисконтинуальностей в рамках единой истории страны.

Исследование Нора было направлено на выявление механизмов и практик, с помощью которых происходит временное становление идентичности того или иного сообщества. Анализ этих своеобразных практик, называемых *играми памяти*, показывает, что память не является чем-то фиксированным, она развивается в зависимости от устанавливаемого сообществом, вдохновляемым в этом властями, отношения к прошлому в перспективе конструируемого горизонта ожидания. Пьер Нора пред-

<sup>3</sup> Ф.А. Йейтс замечает в связи с этим: «Искусная память состоит из мест и образов (Constat igitur artificiosa memoria ex locis et imaginibus) – классическое определение, повторяемое из века в век. Locus – это место, легко удерживаемое памятью, например дом, пространство между колоннами, угол, арка и т. п. Образ – это формы, знаки или подобию (formaе, notaе, simulaera) того, что мы желаем запомнить. Например, если мы хотим запомнить какую-нибудь лошадь, льва или орла, мы должны поместить в определенные места их образы. Искусство памяти подобно внутреннему письму. Тот, кто знает буквы алфавита, может записать продиктованное ему и прочесть то, что записано. Точно так же тот, кто изучил мнемотехнику, может расставить по местам услышанное им и затем воспроизвести это по памяти. “Ибо места весьма подобны восковым табличкам или папирусу, образы – буквам, упорядочение и расположение образов – письму, а произнесение речи – чтению”» [Йейтс, 1997, с. 18].

<sup>4</sup> За работой Нора последовала целая плеяда аналогичных исследований, среди которых отметим: [Bodnar, 1992; Koshar, 1998].

лагает новый способ прочтения истории, учитывающий конфликт интерпретаций, относительный характер исторического знания и возможности политического прочтения прошлого. Его подход к изучению истории можно назвать скорее метафорическим, поскольку он основан не столько на критическом освоении исторического материала, сколько на стратегическом использовании истории в политических целях.

Вслед за Хальбваксом Нора жестко разделяет и противопоставляет память и историю. «Память, – пишет П. Нора, – это жизнь, носителями которой всегда выступают живые социальные группы, и в этом смысле она находится в процессе постоянной эволюции, она открыта диалектике запоминания и амнезии, не отдает себе отчета в своих последовательных деформациях, подвластна всем использованиям и манипуляциям, способна на длительные скрытые периоды и внезапные оживления. История – это всегда проблематичная и неполная реконструкция того, чего больше нет. Память – это всегда актуальный феномен, переживаемая связь с вечным настоящим. История же – это репрезентация прошлого. Память в силу своей чувственной и магической природы уживается только с теми деталями, которые ей удобны. Она питается туманными, многоплановыми, глобальными и текучими, частичными или символическими воспоминаниями, она чувствительна ко всем трансферам, отображениям, запретам или проекциям. История как интеллектуальная и светская операция взывает к анализу и критическому дискурсу. Память помещает воспоминание в священное, история его оттуда изгоняет, делая его прозаическим. Память порождается той социальной группой, которую она сплачивает, это возвращает нас к тому, что, по словам Хальбвакса, существует столько же памятей, сколько и социальных групп, к идее о том, что память по своей природе множественна и неделима, коллективна и индивидуальна. Напротив, история принадлежит всем и никому, что делает универсальность ее призванием. Память укоренена в конкретном, в пространстве, жесте, образе и объекте. История не прикреплена ни к чему, кроме временных протяженностей, эволюции и отношений вещей. Память – это абсолют, а история знает только относительное» [Нора, 1999, с. 19]. Во введении к книге «Места памяти», озаглавленном «Между памятью и историей», Пьер Нора представляет читателю историю взаимоотношений между этими двумя понятиями. При этом он опирается на традицию немецкой социологии (Зиммель, Теннис), подчеркивая характерную черту современной эпохи, которую вслед за Беньямином он усматривает в опыте в эмфатическом смысле, т. е. непосредственной и естественной длительности настоящего по отношению к прошлому, разделяемой и передаваемой от поколения к поколению традиции, которая может быть пересказана без утраты смысла. Нора называет себя историком памяти и видит своей задачей разработку стратегий по ее спасению, сохранению и сбережению. На первый план у него выходят те исторические изменения, которые ее детерминируют, а с другой стороны – определяют ее значимость для людей.

Так возникает проблематика «мест памяти» – генеалогия представлений о символах, в которых кристаллизуется коллективная идентичность, отражающая ностальгию по национальной идентичности, глубоко укорененной в едином и объединяющем повествовании о прошлом. «Это то, что скрывает, облачает, устанавливает, создает, декретирует, поддерживает с помощью искусства и воли сообщество, глубоко вовлеченное в процесс трансформации и обновления, сообщество, которое по природе своей ценит новое выше старого, молодое выше дряхлого, будущее выше прошлого. Музеи, архивы, кладбища, коллекции, праздники, годовщины, трактаты, протоколы, монументы, храмы, ассоциации – все эти ценности в себе – свидетели другой эпохи, иллюзии вечности» [там же, с. 25]. Нора вводит и еще одно важнейшее понятие, широко используемое в исторической политике, – «долг памяти». Оно обозначает не столько обязательство хранить память об ушедших (особенно о жертвах мировых войн и политических репрессий), сколько долг, связанный с мучительным переживанием «деструктивного критицизма», собственного забвения недавнего прошлого,

исполненного трагических событий. Долг памяти – это своеобразный императив справедливости, требующий извлечь уроки из прошлого и предпринять конкретные действия со стороны властей: признание преступлений прошлого, увековечение памяти невинных жертв, создание мемориалов и проч.

Таким образом, новое понимание истории и ее задач позволяет Пьеру Нора показать на обширнейшем историческом материале, каким образом формируется национальная (французская) идентичность, кристаллизирующаяся вокруг «мест памяти» – начиная от республиканского девиза и французских героев, нашедших упокоение в Пантеоне, – через великие французские символы (Лувр, Сена, Гражданский кодекс и т. д.). Историк показывает, как память, будучи материей необычайно тонкой и подвижной, не поддающейся жесткой фиксации, формируется в зависимости от отношения людей, вдохновляемых властью, устанавливает свои отношения с прошлым в перспективе конструируемого горизонта ожидания. В словосочетании «места памяти» он делает акцент именно на понятии места, т. е. способа постоянно возвращать память людей к событиям, фактам, действиям, идеям, уже произошедшим и пережитым и потому кажущимся преодоленными. Для общественно-политической жизни всегда были характерны игры памяти, в результате которых то или иное событие или тот или иной персонаж оказывается вытесненным и «забытым» (а порой и опороченным!), уступая место другим событиям и другим персонажам. В результате историческая фигура, являющаяся объектом пристального внимания и бесконечных интерпретаций, может парадоксальным образом превратиться из символа национальной истории в контрсимвол или контрфигуру. Таким образом, память обращена не только к пережитой и ушедшей древности, но и – быть может, в первую очередь – к настоящему, его целям и задачам. Иными словами, память избирательна и фиксирует те сюжеты и отношения, которые сегодня кажутся актуальными, что позволяет активно использовать ее в качестве инструмента символической политики.

Концепция истории и памяти Пьера Нора вызвала обширнейший резонанс, вышедший далеко за пределы Франции и приведший к тому, что некоторые обществоведы стали называть «войнами памяти». Позднее сам автор будет сожалеть о том, что центральное понятие его теории – понятие мест памяти – «вышло из-под его контроля» и превратилось в инструмент политических манипуляций<sup>5</sup>. Кто-то видел в этой концепции ностальгию по утраченному миру, другие – проект экзальтированного национализма в стиле историка времен Третьей Республики Эрнеста Лависса. Кто-то усматривал в этом проекте подлинную историографическую революцию XX в., опрокинувшую историческое видение прошлого века, основание новой современной истории, сердцевинной которой является не столько прошлое, сколько настоящее в его связи с прошлым, причем настоящее, не имеющее никакого отношения к презентизму, лишенному темпоральной глубины [Dosse, 2012, p. 954].

Так или иначе создалась проблемная ситуация, связанная с формами кристаллизации новых социальных и особенно политических контекстов, выходящая далеко за рамки внутридисциплинарных споров историков и вследствие этого требующая глубокой философской рефлексии. Можно выделить несколько групп вопросов, поднятых в ходе этой полемики.

Во-первых, это вопросы эпистемологического характера, связанные со спецификой исторического знания в современную эпоху, особенно касающиеся его артикуляции, и со сферой политического как такового, и с реальной политикой. Не снижает ли использование мемориальных практик (в частности, создается ситуация, когда свидетелям и очевидцам верят больше, чем архивным документам и профессиональным историкам [Hartog, 2005]) критических функций истории как интеллектуальной опе-

<sup>5</sup> «В 90-е годы, – напишет он в своей книге 2001 г. “Настоящее, нация, память”, – произошел настоящий переворот в понятиях, и просьба о признании обернулась идентификационными требованиями, которым сопутствовали репарационные притязания на возмещение причиненного ущерба, а также репарации юридические, финансовые, политические» [Nora, 2001, p. 403].



рации, которая пытается сделать прошлое умопостигаемым и избежать анахронизмов? Каким образом связаны длительность и прерывистость, дисконтинуальность в истории и с помощью каких интеллектуальных операций их можно осмыслить? И не следует ли пойти еще дальше по намеченному Нора пути и разделить историю памяти и память истории? [Noël, 2011.] По сути, все эти вопросы можно свести к главному: соотношению объективности с ее сциентистскими претензиями и субъективистской перспективы, опирающейся на непосредственный опыт в вопросах восстановления истины прошлого.

Во-вторых, вопросы, относящиеся к сфере социально-политической теории и касающиеся связи мемориальных практик и отношений с новейшими идентификационными процессами. В этих спорах (групповая или коллективная) идентичность была представлена как результат политических стратегий, конструирования, важнейшей составляющей которых выступает историческая интерпретация прошлого этой группы или этого сообщества в его отношении к другой группе или сообществу (т. е. не просто «кто есть я?», но «кто есть я по отношению к другому?»). Роль исторической памяти здесь колоссальна: она по природе своей – не просто зеркальное воспроизведение прошлых событий, она постоянно реорганизует и регенерирует это прошлое. Но можно ли сводить идентификационные процессы только к реконструкции прошлого, ведь идентичность – развивающийся феномен? Кроме того, существует разрыв между «официальной» памятью и памятью «живой»; между выбором прошлого (всякая политика стремится предопределить интерпретацию истории) и грузом прошлого (прошлое – не просто набор инструментов, среди которых можно выбирать, оно может выступать в качестве принуждения, которого не способен избежать ни один политик).

В-третьих, вопросы морально-политического характера, сфокусированные главным образом вокруг понятия долга памяти, также ставшего предметом острых дебатов. Недоумение вызывала требующая безусловного прояснения ситуация полного смешения общественных ролей – историк, свидетель, эксперт, судья? Понятие долга памяти, область употребления которого сегодня необычайно широка – от гуманитарной эпистемологии до идеологических конструкций самого различного толка, – первоначально принадлежало сфере психоанализа и литературы. Однако начиная с середины 1970-х гг. это понятие получает значительно более широкое звучание, а с конца 80-х гг. кристаллизуется в настоящий категорический императив, с которым связывают ренессанс общей культуры, общих ценностей, способствующих общественной консолидации. Тема долга памяти превращается в своего рода коллективный проект в публичном пространстве вплоть до ее вынесения в заголовок темы («Почему существует долг памяти») бакалаврского экзамена по философии во Франции в 1993 г.

Значительной вехой в развернувшихся дискуссиях (продолжающихся и по сегодняшней день) стала книга Поля Рикёра «Память, история, забвение» (2000), явившаяся в какой-то мере итогом его многолетних размышлений об истории и особенностях нашего постижения времени. Его концепция принадлежит герменевтической традиции. Начиная со Шлейермахера герменевтика превращается в обширную программу, направленную на преодоление культурной дистанции и понимание Другого – другой культуры, другой эпохи, другого языка. В. Дильтей перенес эти идеи на историческую почву. Он пытается обосновать историю как научное знание, выходящее за рамки простой интуиции, исходя из гипотезы, что жизнь производит формы, стабилизирующиеся в различных конфигурациях. И хотя Дильтей в своей концепции приходит к внутреннему противоречию, обусловленному его психологизмом в толковании исторических явлений, ему удается схватить самую суть проблемы, подхваченной затем Э. Гуссерлем в «Кризисе»: жизнь постигает жизнь, только формулируя смысл, который возвышается над течением времени, история – главный момент понимания человеком самого себя. Смысл, постигаемый

человеком в процессе познания, имманентен его сознанию. «Коль скоро история – это наша история, то смысл истории – это наш смысл», – скажет позднее Рикёр [Ricoeur, 1986, p. 34]. Поэтому разрывы и дисконтинуальность неотделимы от длительности. Поэтому и Гадамер откажется от жестких разрывов, определяя понимание не просто как некую субъективную операцию, а как вписанность в процесс передачи знания, в котором прошлое и настоящее теснейшим образом взаимосвязаны. Герменевтика работает в этом промежуточном пространстве, которое и есть традиция как связующее звено между «своим» (настоящим) и «иным» (прошлым), усваивая это «иное», превращая его в «свое». Дисконтинуальность, противопоставляющая настоящее прошлому, становится здесь главным моментом для развития исторического сознания, а историческая дистанция превращается из препятствия в продуктивную возможность понимания.

Именно это требование мыслить напряженность, натяжение между имманентно присущим нашему сознанию и внешним по отношению к нему и подтолкнуло Рикёра к попытке преодоления антиномий историчности. Еще в 1980-е гг. («Время и рассказ», в 3 т., 1983–1985) отправной точкой для этих размышлений для него стало противоречие между чисто космологической концепцией времени (Аристотель) и «внутренней» концепцией (Августин), которое не сумели разрешить ни Кант, ни Гуссерль (критика vs феноменология). Для Рикёра решение этой антиномии лежит во введении «третьего времени» – времени, рассказанного историком, которое позволяет создать новую темпоральную конфигурацию с помощью таких специфических связей, как «время календаря» («первый мостик, который историческая практика возводит между пережитым временем и временем космическим» [Ricoeur, 1985, p. 190]), или понятие поколения, позволяющее, по Рикёру, осуществить связь между временем публичным и приватным, или, наконец, понятие следа, которое Рикёр считает очень важным и в разработке которого опирается на идеи Левинаса.

В книге «Память, история, забвение» Рикёр соберет все «ниточки» своего исследования, которые и обусловят общую структуру работы (феноменология памяти, эпистемология истории и герменевтика исторического состояния), и выведет политические и этические следствия. Он попытается ответить на вопрос, какой должна быть «справедливая память» в особом историческом контексте современного общества, отмеченном бесконечными официальными процедурами увековечивания тех или иных событий и героев, публичными декларациями и призывами к прощению от лица сообществ, стремящихся с помощью этих мероприятий приобрести признание. Рикёр признаёт справедливыми требования памяти, но считает необходимым отнестись к ней критически, т. е. подвергнуть ее строгому историческому исследованию, которое должно предотвратить эмоциональное злоупотребление памятью, и одновременно обратиться к необычайно пластичной силе жизни – силе обновления и забвения. Тем самым он осуществляет реабилитацию живой памяти в противовес ее релятивизации историками, стремящимися к объективности и критикующими мемориальный феномен за излишний субъективизм и эмоциональность. Путь к реабилитации справедливой памяти лежит, по его мнению, через разрешение сложнейших методологических проблем эпистемологии истории, которое и должно исправить негативные последствия опыта обращения с памятью последних десятилетий. Тем самым, полагает Рикёр, будет обречено равновесие двух полюсов проблемы – методологического и эпистемологического, с одной стороны, и этического и политического – с другой<sup>6</sup>.

На наш взгляд, ключом к этому анализу служит довольно популярное в современных гуманитарных науках понятие репрезентации. Именно понятие репрезентации, по Рикёру, позволяет установить глубокую связь не просто между различ-

<sup>6</sup> На протяжении своего творчества П. Рикёр неоднократно прибегает к аналогичному способу решения философских проблем. Таков, например, формулируемый им парадокс политического [см. подробнее: Федорова, 2009].

ными фазами исторической операции, но между историей и памятью<sup>7</sup>. Он дополняет эпистемологическое описание термина этическим и соответственно приходит к корректировке самого понятия репрезентации, заменяя его понятием репрезентирования (*représentance*): присутствие прошлого в настоящем следует мыслить с позиций связи, ориентированной долгом настоящего по отношению к прошлому. Таким образом, речь идет не просто о том, что прошло, было преобразовано и впоследствии угасло, но и одновременно – а может быть, и в первую очередь – о том, что остается, будучи преобразованным в складках настоящего и будущего. Это постоянное присутствие прошлого в настоящем превращает давно ушедших в наших собеседников. Поэтому можно с уверенностью сказать, что то время, когда историки просто стремились пересказать прошлое, «как оно было на самом деле», давно минуло. Даже если некие события действительно имели место и оставили свой след, ничто не гарантирует однозначный характер представляемой реальности. Эта однозначность может только постулироваться, но она никак не может быть доказана. «Описание» прошлого – конструкция, подразумевающая интерпретацию различных «следов» (документы, архивы, свидетельства...) историком, который сам находится в определенной ситуации.

Эта сложность в понимании прошлого и в формах нашего отношения к нему обусловлена его (прошлого) двойным онтологическим статусом, выявленным М. Хайдеггером и затем обоснованным современной герменевтической традицией. Прошлое – это то, чего больше нет, то, что ушло безвозвратно; но это еще и то, что таинственным образом продолжает существовать, присутствовать в настоящем. Поэтому и история – не просто нарратив, участвующий в выработке субъективного воображаемого образа, так как прошлое, о котором она повествует, не может быть предметом фиксации и однозначного присвоения; прошлое постоянно ускользает от попыток настоящего овладеть им окончательно и однозначно. Претензии настоящего в этом отношении достаточно скромны, и каждое настоящее изменяет память о прошлом.

Рикёр постоянно напоминает своим читателям, что он в этой полемике – на стороне памяти, но не просто памяти, а памяти как матрицы истории [Рикёр, 2004, с. 132]. Именно поэтому он с большой осторожностью относится к вызвавшему целый шквал критических откликов понятию долга памяти<sup>8</sup>. Философ признает, с одной стороны, актуальность мемориальных требований и их огромную значимость для общества в целом, с другой – утверждает необходимость воли для регулирования отношений к прошлому (что уже выводит дискуссию о памяти за рамки просто эпистемологических споров к вопросам практическим – этическим и политическим), для разработки политтехнологий облегчения воспоминаний о прошлом и разрешения жгучих конфликтов прошлого. Иными словами, вопрос стоит о том, как повлиять на память, чтобы восстановить на различных уровнях разрывы социальной ткани, возникшие вследствие былых конфликтов. Поэтому Рикёр предпочитает говорить не столько о «долге памяти», сколько о «работе памяти». Работа памяти состоит в том, чтобы поддерживать во времени связность некой идентичности, вписанной в историю и в действие. Здесь возможны самые разнообразные и даже противоречивые ситуации: в одних случаях мы имеем дело с прошлым, которое «не желает» уходить, в других – с бегством, сознательным или бессознательным затемнением прошлого, отрицанием его наиболее травмирующих моментов. Патологии коллективной памяти могут проявляться либо как избыточная па-

<sup>7</sup> В гл. 3 второй части книги Рикёр пишет: «Именно в терминах репрезентации феноменология памяти, вслед за Платоном и Аристотелем, описала мнемонический феномен, поскольку воспоминание выступает как образ того, что было ранее увидено, услышано, испытано, обретено; и именно в терминах репрезентации может быть сформулирована направленность памяти на прошлое» [Рикёр, 2004, с. 331].

<sup>8</sup> Наибольшую известность в этом отношении приобрела работа Цветана Тодорова «Злоупотребления памятью» [Todorov, 1995], к анализу которой обращается и Поль Рикёр, в целом поддерживая позицию автора, но в то же время критически оценивая ряд высказанных им положений.

мять (пример тому – современные практики патримониализации национального прошлого, мемориальные мероприятия и т. п.), либо же как недостаточная память (страны с тоталитарными режимами, где господствует «управляемая память»). При этом Рикёр обращает внимание на то, что работа памяти неотделима от работы скорби, работы забвения.

Долг памяти, таким образом, это не просто груз, который вынуждено нести современное общество, он может стать хранилищем смысла, что возможно, однако, только при условии открытия множественности памяти, выявления ее скрытых ресурсов, при критическом различении патологической памяти и памяти живой: «Только открывая – посредством истории – не реализованные, а значит в силу обстоятельств задержанные или вытесненные позднейшим течением истории обещания, народ, нация, культурная общность способны достичь открытого и живого восприятия их традиций» [Ricoeur, 1998, p. 30–31].

Таким образом, современные дискуссии вокруг дилеммы память/история показывают, что множественная, фрагментированная память сегодня выходит за рамки «территории историка», превращается в орудие социальной связи, конструирования идентичности. Но вместе с тем она может быть вписана в интерпретативную перспективу, открытую к будущему, стать предметом коллективного освоения, а не просто элементом музеографии, оторванной от настоящего. Для нормально функционирующего общества проблема состоит не том, чтобы развести историю и память, тщательно очертив их сферу, а в том, чтобы разрешить вопрос, каким образом можно связать историю, память и забвение. Особенности современного общества с присущим ему особым режимом историчности требуют от истории новой степени ответственности: сохраняя свои критические функции, она борется против несправедливости, разоблачает преступления прошлого и участвует в примирении общества. Иными словами, она оказывается вовлеченной в совершенно новые отношения с памятью и забвением. И характер этих отношений таков, что они требуют отказа от ставшей до некоторой степени классической антиномии истории и памяти, в соответствии с которой история стремится к объективности и верификации своих источников, а память сражается за верность традиции.

### Список литературы

- Йейтс, 1997 – *Йейтс Ф.А.* Искусство памяти / Пер. с англ. Е. Малышкина. СПб.: Университет. кн., 1997. 480 с.
- Любин, 2004 – *Любин В.П.* Германия: концепция Э. Нольге и «Спор историков» // *Любин В.П.* Преодоление прошлого: спор о тоталитаризме. Аналит. обзор. М.: ИНИОН РАН, 2004. 120 с. URL.: <http://alestep.narod.ru/lubin/totalitarianism.htm> (дата обращения: 29. 01.2018).
- Мачульская, 2015 – *Мачульская О.И.* Морис Хальбвакс о социальной обусловленности индивидуальности // *Филос. науки.* 2015. № 9. С. 99–104.
- Нора (ред.), 1999 – *Франция-память* / Ред. П. Нора. СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 1999. 333 с.
- Нора, 2001 – *Nora P.* *Présent, nation, mémoire.* P.: Gallimard, 2001. 432 p.
- Рикёр, 2004 – *Рикёр П.* *Память, история, забвение.* М.: Изд-во гуманитар. лит., 2004. 728 с.
- Федорова, 2009 – *Федорова М.М.* Парадоксы политического (читая Поля Рикёра) // *Философия и этика* / Под ред. Р.Г. Апресяна. М.: Альфа, 2009. С. 605–618.
- Bodnar, 1992 – *Bodnar R.* *Remaking America. Memory, Commemoration and Patriotism in the Twentieth Century.* Princeton: Princeton University Press, 1992. 312 p.
- Dosse, 2012 – *Dosse F.* *Pierre Nora ou l'avènement de l'intellectuel démocratique* // *Revue historique.* 2012. No. 664. P. 921–936.
- Halbwachs, 1997 – *Halbwachs M.* *Mémoire collective.* P.: PUF, 1997. URL: [http://classiques.uqac.ca/classiques/Halbwachs\\_maurice/memoire\\_collective/memoire\\_collective.html](http://classiques.uqac.ca/classiques/Halbwachs_maurice/memoire_collective/memoire_collective.html) (дата обращения: 10.01.2018).

Hartog, 2005 – *Hartog F.* Evidence de l’histoire. Ce que voient les historiens. P.: EHESS, 2005. 288 p.

Kosher, 1998 – *Kosher R.* Germany’s Transient Pasts. Preservation and National Memory in the Twentieth Century. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1998. 422 p.

Lavabre, 2000 – *Lavabre M.-C.* Usages et mésusages de la notion de mémoire // Critique internationale. 2000. Vol. 7. No. 1. P. 48–57.

Lavabre, 2007 – *Lavabre M.-C.* Paradigmes de la mémoire // Transcontinentales. 2007. № 5. URL: <http://journals.openedition.org/transcontinentales/756> (дата обращения: 29.01.2018).

Lavabre, 2014 – *Lavabre M.-C.* La commémoration: mémoire de la mémoire? // Bulletin des bibliothèques de France. 2014. No. 3. P. 22–30.

Noël, 2011 – *Noël P.-M.* Entre histoire de la mémoire et mémoire de l’histoire: esquisse de la réponse épistémologique des historiens au défi mémoriel en France // Conserveries mémorielles. 2011. № 9. URL : <http://journals.openedition.org/cm/820> (дата обращения: 29.01.2018).

Nora, 1984–1992 – *Nora P.* (dir.) Les lieux de mémoire. En 3 t., 6 vol. P.: Gallimard, 1984–1992.

Pomian, 1988 – *Pomian K.* De l’histoire, partie de la mémoire, à la mémoire, objet de l’histoire // Revue de la métaphysique et de morale. 1998. No. 1. P. 63–110.

Ricœur, 1985 – *Ricœur P.* Le Temps et le Récit. T. 3. P.: Ed. du Seuil, 1985. 240 p.

Ricœur P, 1988 – *Ricœur P.* La marque du passé // Revue de métaphysique et de morale. 1998. No. 1. P. 7–31.

Ricœur, 2004 – *Ricœur P.* A l’école de la phénoménologie. P.: Vrin, 2004. 383 p.

Todorov, 1995 – *Todorov Z.* Les abus de la mémoire. P.: Arléa, 1995. 60 p.

## History/Memory: “Difficult” Dilemma

*Mariya M. Fedorova*

Institut of Philosophy, Russian Academy of Sciences. 12/1 Goncharnaya Str., Moscow, 109240, Russian Federation; e-mail: mf57@yandex.ru

The author attempts to analyze the problem of the correlation of history and memory. There were analyzed three models of the solution of this problem, presented in the modern French social and philosophical thought, and caused a huge public resonance – the theory of the collective memory of M. Halbwachs, the concept of “places of memory” of Pierre Nora and the hermeneutics of the history of P. Ricœur. The author shows that the solution of the problem is possible at the intersection of two lines of research – philosophical-epistemological and practical-political. At the same time, maintenance of the gap between history and memory leads to a depletion of history and opens up opportunities for manipulating with memory. At the same time, memory can be inscribed in an interpretative perspective open to the future, become a subject of collective capturing, but not simply an element of museography, divorced from the present. For a normally functioning society, the problem is not to divorce history and memory, having carefully delineating their sphere, but to resolve the issue of how to link history, memory and oblivion.

**Keywords:** history, memory, duty of memory, tradition, epistemology of history, history politics

## References

Bodnar R. *Remaking America. Memory, Commemoration and Patriotism in the Twentieth Century.* Princeton: Princeton University Press. 1992. 312 p.

Dosse F. “Pierre Nora ou l’avènement de l’intellectuel démocratique”, *Revue historique*, 2012, no. 664, pp. 921–936.

Fedorova M.M. “Paradoksy politicheskogo (chitaja Polja Rikera)” [Paradoxes of Political (riding Paul Ricœur)]. In: *Filosofija i jetika* (Philosophy & Ethic), ed. by R. Apresjan. Moscow: Al’fa Publ., 2009, p. 605–618. (In Russian)

Halbwachs M. *Mémoire collective.* Paris: Presses Univ. de France, 1997. 297 p. Available at: / [http://classiques.uqac.ca/classiques/Halbwachs\\_maurice/memoire\\_collective/memoire\\_collective.html](http://classiques.uqac.ca/classiques/Halbwachs_maurice/memoire_collective/memoire_collective.html) (accessed 10.01.2018).

- Hartog F. *Evidence de l'histoire. Ce que voient les historiens*. Paris: EHESS, 2005. 288 p.
- Kosher R. *Germany's Transient Pasts. Preservation and National Memory in the Twentieth Century*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1998. 422 p.
- Lavabre M.-C. "La commémoration: mémoire de la mémoire?" *Bulletin des bibliothèques de France*, 2014, no. 3, pp. 22–30.
- Lavabre M.-C. "Paradigmes de la mémoire", *Transcontinentales*, 2007, no. 5, pp. 139–147. Available at: <http://journals.openedition.org/transcontinentales/756> (accessed: 29.11.2017).
- Lavabre M.-C. "Usages et mésusages de la notion de mémoire", *Critique internationale*, 2000, vol. 7, no. 1, pp. 48–57.
- Ljubin V.P. Germanija: koncepcija Je. Nol'te i "Spor istorikov" Germany: Conception of E. Nolte and "Dispute of Historians". In: Ljubin V.P. *Preodolenie proshlogo: spor o totalitarizme. Analiticheskij obzor* [Overcoming of the Past: Dispute on Totalitarianism. Analytical Review]. Moscow: INION RAN Publ., 2004. 120 p. Available at: <http://alestep.narod.ru/lubin/totalitarianism.htm> (accessed 29.01.2018). (In Russian).
- Machulskaya O.I. "Moris Halbwachs o social'noj obuslovlennosti individual'nosti" [Moris Halbwachs on Social Conditionality of the Individuality], *Philosophical Sciences*, 2015, no. 9, pp. 99–104. (In Russian)
- Noël P.-M. "Entre histoire de la mémoire et mémoire de l'histoire: esquisse de la réponse épistémologique des historiens au défi mémoriel en France", *Conserveries mémorielles*, 2011, no. 9. Available at: <http://journals.openedition.org/cm/820> (accessed 29.12.2017)
- Nora P. (ed.) *Francija-pamjat'* [France-Memory]. St.-Petersburg: St.-Petersburg St. Un. Publ., 1999. 333 p. (In Russian)
- Nora P. (ed.) *Les lieux de mémoire*, en 3 t., 6 vol. Paris: Gallimard, 1984–1992.
- Nora P. *Présent, nation, mémoire*. Paris: Gallimard, 2001. 432 p.
- Pomian K. "De l'histoire", partie de la mémoire, à la mémoire, objet de l'histoire, *Revue de la métaphysique et de morale*, 1998, no. 1, pp. 63–110.
- Ricœur P. *A l'école de la phénoménologie*. Paris: Vrin, 2004. 383 p.
- Ricœur P. La marque du passé, *Revue de métaphysique et de morale*, 1998, no. 1, pp. 7–31.
- Ricœur P. *Le Temps et le Récit, t. 3*. Paris: Ed. du Seuil, 1985. 240 p.
- Ricœur P. *Pamjat', istorija, zabvenie* [La Mémoire, l' Histoire, l' Oubli], transl. by I. Blauberg, I. Vdovina, O. Machulskaya, G. Tavrizyan. Moscow: Izd-vo gumanitarnoj literatury Publ., 2004. 728 p. (In Russian)
- Todorov Z. *Les abus de la mémoire*. Paris: Arléa, 1995. 60 p.
- Yates F.A. *Iskusstvo pamjati* [The Art of Memory], trans. by E. Malyschkin. St.-Petersburg: Universitetskaja kniga Publ., 1997. 480 p. (In Russian)